



JAKOV SHECHTER



ORCID 0000-0002-1277-4455

Мой Юдсон

Что может собственных Юдсонов...
 российская земля рождать

Откорректированный Ломоносов

Писатели редко дружат. Специфика жанра. Как любил повторять один уже почти забытый классик: «Для многих литераторов удача собрата по перу — большое личное горе». Но мы с Мишей дружили. Это выражалось в почти ежедневных разговорах по телефону, в общем деле, которое мы делали сначала в редколлегии журнала «22», потом в «Артикле» и в Тель-Авивском Клубе литераторов, в бесчисленных совместных выступлениях, и в не поддающемся исчислению количестве спиртного, выпитого на двоих. Мы пили в самолетах, автобусах, поездах, такси, ресторанах, кафе и просто у меня дома. И без конца говорили о литературе.

Мы были сторонниками разных подходов к тексту. Я утверждал, что человек за часть своей жизни, потраченной на наш текст, должен получить взамен прежде всего захватывающее чтение. Реминисценции, ассоциации, литературная игра, аллюзии несомненно украшают, но должны стоять на втором и третьем плане.

Для Миши главным в тексте было слово. Его переливы, созвучия с другими словами на других языках, эхо и резонансы. Иной раз от услышанных им наложений, перекрестий или гармоник хотелось смеяться, иной раз рот раскрывался от удивления и неожиданности

— Ты раб Слова, — повторял я Мише. — Ты ему присягнул, ему служишь, женился на согласной букве, а в любовницы взял

гласную. Да по-другому и быть не может, ты ведь Юдсон, сын буквы юд. Гематрия, цифровое значение этой буквы — десять. Вот ты и пытаешься все время попасть в десятку, расставить буквы и слова самым точным образом. Но скажи мне, сколько людей в состоянии уследить за полетом твоих ассоциаций? К твоим текстам надо прилагать чуть ли не подстрочный комментарий, один Джойс уже был, зачем повторяться?

— Работа над текстом требует усилий, — отвечал Миша. — Текст надо преодолевать, как волну, как ветер. Для этого надо трудиться.

— Всевышний заповедал нам трудиться над изучением Талмуда и Мишны, а не велел нам потеть над текстами Миши Юдсона, — возражал я. — Ты в этом смысле, то есть в создании нечитаемого текста, идешь по стопам Саши Гольдштейна.

— Угу, — кивал Миша. — Именно так и есть. Но почему ты решил, что Сашины тексты нечитаемы? Я их проглатываю в один присест, на одном дыхании. А в смысле стоп — то, разумеется, я иду вслед за ним.

Иногда мы произносим слова, которые оказываются пророческими. Или пророчим себе судьбу. И не каждое пророчество оказывается добрым.

Миша, друживший с Гольдштейном до последнего дня, умер от той же самой болезни, что и Саша, рака легких. В буквальном смысле пошел по его стопам.

Мы не раз и не два пробовали обменяться стилями, но, увы, не получалось. Тексты выходили вполне сносными, стоящими на четырех ногах, но не такими, под которыми хотелось поставить свою подпись. Разговор обычно завершался застольем или плавно в него переходил.

Сотрапезник Миша был непростой. Ел он один раз в день, вечером. Никаких овощей, кроме картошки (о, знаменитые клубни в тряпочке!) и редиски, не признавал. О фруктах речь не шла вообще: прожив в Израиле почти тридцать лет, Миша ни разу не попробовал апельсина или авокадо. Вино и пиво отменялись с порога:

— Напитки крепостью меньше сорока градусов вредят моему пищеварению.

Меню выходило скучным: разного вида селедки, бутерброды с маслом и красной икрой, соленые огурцы, помидоры, капуста, колбаса и мясо. Он покупал где-то на рынке Кармель копченые колбасы, холодец, горчицу и хрен, и норовил затащить их к нам в дом вместе с бутылкой виски, приговаривая, что все кошерно.

— Откуда ты знаешь? — спрашивал я.

— Ну как, продавец же сказал! Там на стенке даже грамотка в рамочке висит, большая-пребольшая.

— И что в ней написано?

— Откуда я знаю? Давай уже скорее хряпнем.

На мои уговоры ничего не приносить — у нас хватает выпивки и закуски — он внимания не обращал, каждый раз выкладывая из черной наплечной сумки промасленные пакеты. Пришлось пойти на крайние меры.

— Если ты еще раз приволочешь ко мне сливочное масло вместе с колбасой и горчицей, я спущу тебя вместе с ними с лестницы, причем не с лестницы на шкаф.

— Это серьезно! — впечатлился Миша, но виски приносить не перестал. Потому что какой же может быть разговор о литературе без бутылки, а ни о чем другом, кроме литературы, Юдсону говорить было неинтересно. Мишу мало интересовала политика, он был далек от бытовых вопросов и забот о благоустройстве.

— Ты отшельник кириллицы, — говорил я, — схимник алфавита, босоногое дитя синтаксиса. И продолжаешь оставаться сыном буквы «юд». Она первая в имени Всевышнего и символизирует мудрость. Твои тексты очень умные, осталось только найти читателей, сумеющих эту мудрость оценить.

— А мне не нужны тысячи, — отвечал Миша. — И сотни не нужны. И десятки. Достаточно двух-трех человек.

— Сын, настоящий сын, — посмеивался я. — Буква «юд» самая маленькая из всех букв алфавита. Самая скромная. Именно поэтому с нее и начинается имя Всевышнего.

— Да ладно тебе, — протягивал руку с бутылкой Миша, — цадик хренов. Влачи дальше по своей занимательной прозе унылый столб иудаизма. Только учти (мы тогда жили в Реховоте), что слово «Реховот» при обратном прочтении означает — «то во хер»! Сплошной фрейдизм-зигмундизм: гордое восклицание, уведомление, похвала самца перед бродящими вокруг синагоги самками.

В нашем писательском цеху непризнанных гениев Миша стоял наособицу. Он не только никогда ни с кем не ссорился, но всегда отзывался обо всех самым лучшим образом.

— Это же безобиднейшее существо! — восклицал он, когда речь заходила о каком-нибудь мрачном мизантропе.

— Милейшее создание! — о скандальной поэтессе, у которой наглость явно превалировала над талантом.

Доброжелательность не была игрой, он совершенно искренне так считал, восхищаясь удачной фразой или хорошей мета-

форой. Иногда во всем произведении можно было похвалить только вот эту метафору, Миша ловко выуживал из стылой посредственности текста блестящую рыбку и любовался радужными переливами чешуи.

Последние десять лет Миша вел мои встречи с читателями. Мы много ездили по Израилю, вечера проходили в Иерусалиме, Хайфе, Беэр-Шеве, Араде, Тель-Авиве, Ришон-ле-Ционе. Миша открывал выступления, а я, после него взяв слово, в свою очередь представлял его зрителям. Несколько лет назад я шутливо назвал его израильским Джойсом, а потом повторил это в двух или трех интервью. Наверное, попадание было точным, потому что это определение стали повторять, и оно превратилось в устойчивое словосочетание.

Оглядываясь назад, я с изумлением замечаю множество случайностей или совпадений, которые на самом деле были вовсе не случайными и говорили о многом. Но понять это можно, увы, только задним числом.

Когда врачи произнесли диагноз, и стало ясно, какая беда свалилась на Мишу, мы с Ирой Маулер стали таскать его по врачам. Началось со специалиста по его болезни, который назначил анализы, частично довольно болезненные. Миша отбивался:

— Да оставьте вы меня в покое! Мне осталось жить две недели, дайте мне спокойно умереть.

— Две недели! — саркастически восклицал я. — Легкой жизни ищешь! Врачи тебе дают от трех до пяти лет, как за угон автомобиля. Приготовься лечиться, жить и писать. У тебя роман *Четверо* в работе, кто будет его заканчивать? Жаботинский?

— Никто не будет, — махал рукой Миша. — Все, кончился текст.

— Ни за что, — не соглашался я. — Допишешь обязательно!

— Как? Вот я хожу и чувствую, как во мне эта гадость разрастается больше и больше. Уже не остановить...

Свои утренние звонки я стал начинать с отсчета: тебе осталось тринадцать дней, двенадцать, одиннадцать... Хотел его развеселить, растормошить, но безуспешно. На восьмой день Миша попал в больницу, и к отсчету первого, то есть ровно через две недели, его не стало. Душа знает...

Еще об одном совпадении. Вышло так, что договариваться о похоронах и подписывать бумаги в больнице и похоронной компании «Хевра Кадиша» довелось Ире Маулер и мне. Вариантов мест для захоронения было всего три: или в стене, в нише четвертого уровня, бесплатно, или в земле, за тридцать четыре тысячи шекелей (без малого десять тысяч долларов), или под открытым небом за пятьдесят шесть тысяч.

Денег таких у Миши сроду не водилось, собирать у друзей можно было на лечение, но не на могилу. Мы умоляли поискать место пониже, во втором или хотя бы в третьем ряду, мы готовы были заплатить, ведь это стоило не такие безумные деньги, но, увы, мест попросту не было. На кладбище срочно возводилось еще одно здание с такими нишами, но ждать завершения строительства было невозможно. Пришлось сжать зубы и подписывать четвертый уровень.

Вот что написал об этом Петр Люкимсон:

Хоронили Мишу, как сейчас хоронят — в стене, в крохотной нише, причем на «четвертом этаже» под самым потолком — там, где располагаются самые непрестижные места для «бедных», так что для того, чтобы добраться до таблички с его именем и датами рождения и смерти и зажечь там свечу, надо влезать на высокую-высокую лестницу. Но лестницы никакой нет, да и кто это будет делать?!

Но, как ни странно, я думаю, что Миша доволен этой своей первой и последней постоянной квартирой. Может, он и сам бы выбрал это место — так, чтобы для того, чтобы до него добраться, надо было карабкаться по лестнице. Ведь не случайно его главный роман так и называется — «Лестница на шкаф», да и для того, чтобы добраться до сокровенной сути его прозы, надо подчас сделать немалое усилие и заставить себя подниматься вверх по интеллектуальной лестнице.

Как любит повторять Давид Маркиш: встречаться надо чаще, а пить больше. Мне трудно принять к исполнению вторую часть этой фразы — Миша бы сказал «куда уж больше», — но с первой я согласен абсолютно. Нет ничего дороже на свете общения с другом, и когда он уходит из твоей жизни, с горечью сожалеешь о встречах, отменных из-за какой-то ерунды и отложенных — увы, навсегда! — разговорах.

Мы часто возвращались к бунинскому «лишь слову жизнь дана» и классическому «остаётся только текст». Жадность к слову, любовь к каждой букве — главные составляющие еврейского национального характера, ведь в основе еврейской религии лежит священный текст Торы, и наши предки тысячи лет провели в кропотливой работе над ним. В этом смысле Миша был настоящим евреем. Сложилось так, что его родным алфавитом была кириллица, поэтому весь жар своей души он вложил в любовь к русскому языку. Он был наполнен «особенным еврейско-русским воздухом», пил его, дышал им, выдыхал и выдыхал только его. Теперь это дыхание рассеялось в мире, над горячими холмами Иудеи и заснеженными лесами России. Остался только текст.